

УДК 930.1

DOI: 10.17223/1998863X/40/17

И.В. Лихоманов, В.А. Бойко

ЕВРАЗИЙЦЫ И МУЗА КЛИО: ОТ МИФОЛОГИИ – К НАУКЕ

Рассматривается эпистемологическая значимость евразийской интерпретации отечественной истории. Смысловое ядро этой доктрины – идеологическая рационализация мифа, связанного с русской революцией. Евразийцы не создали собственной философии истории, но предложили оригинальный ракурс восприятия исторического материала, благодаря которому история России обрела новый и непривычный вид. Субъектом исторического процесса в их сочинениях выступает не русский народ и русское государство, а территория страны.

Ключевые слова: евразийство, идеология, методология и философия истории, исторический нарратив.

Евразийство, одно из наиболее влиятельных идейно-политических течений современной России, предлагает собственный концептуальный подход к отечественной истории. Классические труды Г.В. Вернадского и Л.Н. Гумилева, где евразийская интерпретация отечественной истории представлена с наибольшей выразительностью, будучи опубликованы в постсоветское время огромными тиражами, вызвали широкий интерес читателей и приобрели множество последователей. Объем научной, научно-популярной и псевдонаучной литературы, пропитанной «духом» евразийского учения, стремительно возрастает. Но эпистемологическая значимость этой литературы, да и в целом евразийской интерпретации отечественной истории, осмыслена, с нашей точки зрения, слабо и недостаточно.

Внесло ли евразийство что-то принципиально новое в историческую науку, в знание о прошлом России? Позволяет ли евразийский взгляд на отечественную историю глубже проникнуть в историческую действительность, лучше ее понять? Или мы имеем дело с *идеологической конструкцией*, где «факты» служат лишь материалом для выстраивания политически ангажированных нарративов? Вопросы подобного рода звучат не впервые. Ими задавались еще первые критики евразийства в 1920–30-х гг. Не чужды они и современным исследователям феномена евразийства, в том числе зарубежным.

К числу фундаментальных работ, посвященных различным аспектам исторических и историософских воззрений представителей евразийства, можно отнести книгу Марлен Ларюэль «Идеология русского евразийства, или Мысли о величии империи» (1999). Однако вполне понятное и оправданное стремление автора представить западному читателю евразийство в качестве системно-организованного, целостного культурного феномена обернулось, на наш взгляд, недостатком этого выдающегося во многих других отношениях исследования.

Евразийство, утверждает в начале своей книги М. Ларюэль, – это не только самостоятельная политическая идеология, но и самостоятельная философия, в том числе философия истории [1. С. 13]. Но в дальнейшем она

признает, что «в философской мысли евразийцев содержалось немало двусмысленностей» [1. С. 60]. К числу этих двусмысленностей Ларюэль относит колебания евразийцев «между универсализмом и партикуляризмом» в трактовке исторического процесса [1. С. 78]. Проще говоря, мы не можем однозначно утверждать, разделяли ли они точку зрения О. Шпенглера, согласно которой мировая история – это бесконечный процесс возникновения, развития и гибели отдельных культур (цивилизаций), никак друг с другом не связанных, или верили в единство человечества и человеческой истории, движущейся к определенной цели. Поэтому возникает вопрос о том, как при наличии столь принципиального разногласия («двусмысленности») относительно субъекта истории возможно говорить о наличии *специфически евразийской философии истории*.

Если обратиться к теоретическому наследию Н.С. Трубецкого, то никакой философии истории в его сочинениях мы не обнаружим: он развивает оригинальную *философию культуры*. В работе «Европа и человечество» (1920) Трубецкой, применяя методологию сравнительного языкознания и разрабатываемой им совместно с Р.О. Якобсоном фонологии к области изучения человеческих культур, приходит к выводу о несоизмеримости культур с точки зрения уровней их развития. Нет культур более или менее развитых. Есть лишь более близкие/далекие и менее близкие/далекие культуры, как и языки разных народов. Трубецкой отвергает идею конвергенции культур, а также в ряде статей развивает, применительно к российской действительности, представление о «верхах» и «низах» национальной культуры. Но у него отсутствует четкое видение характера исторического процесса в целом, и титул «русского Шпенглера» Трубецкой получил, скорее, по легкомыслию, чем заслуженно.

Работы другого ведущего теоретика евразийства, П.Н. Савицкого, содержат ряд историософских идей. Он, в отличие от Трубецкого, готов признать наличие всемирно-исторического прогресса и неравенство культур, как минимум, по уровню их технологического развития. Его концепция «срединного материка» России-Евразии воспроизводит в главных чертах концепцию «срединного мира» В.И. Ламанского. Но Савицкий идет дальше, *онтологизируя* взаимосвязь культуры и географии посредством термина «месторазвитие». Здесь он следует научной традиции, сформированной представителями «географического детерминизма», такими как К. Риттер, Ф. Ратцель и др., но лишь отчасти, поскольку в трактовке Савицкого взаимосвязь культуры и географии приобретает отчетливо выраженный мистический характер. Географические и природно-климатические условия не могут в *строго научном смысле* образовывать «единое целое» с культурой. Этим термином как бы грубо «сколачиваются» онтологически разные сущности. «„Месторазвитие“, – пишет Савицкий, – нужно понимать как категорию синтетическую, как понятие, обнимающее одновременно и социально-историческую среду, и занятую ею территорию» [2. С. 288]. Однако развивать эту идею Савицкий не стал, вследствие чего иррациональная взаимосвязь между природно-географической средой и социумом оказалась им нераскрытой, а концепт месторазвития так и остался *отдельным* историософским компонентом евра-

зийской идеологии – важным, но не эксплицированным и до конца философски не продуманным.

Из теоретиков евразийства только Л.П. Карсавин, будучи профессиональным историком и философом, разрабатывал оригинальную версию философии истории. Ее основа – учение о «соборной личности» – является также одним из компонентов евразийской идеологии. Однако, если в философии истории Карсавина концепт «соборной личности» играет ключевую роль и является необходимым логическим элементом последовательности его рассуждений, то в евразийских текстах Савицкого и Трубецкого «соборная личность», хотя и упоминается время от времени, выглядит компонентом случайным и даже излишним. Культурологическая концепция Трубецкого и геополитическая концепция Савицкого не нуждаются в понятии «соборная личность». В то же время философско-историческая теория Карсавина не нуждается в евразийстве и во многих своих принципиальных положениях противоречит взглядам и Трубецкого, и Савицкого. Например, вопреки взглядам последнего, Карсавин указывал на «недостаточную убедительность» любых попыток связать в единое целое природную среду и культуру и даже полагал, что географические введения в исторических трудах являются ненужными [3. С. 32]. В противовес Трубецкому, отвергавшему, хотя и непоследовательно, конвергенцию культур, Карсавин отстаивал идею «всеединства» человечества и исторического процесса. В качестве субъекта исторического развития он рассматривал «всеединое человечество, человечество, как конкретное всевременное и всепространственное единство своих моментов или индивидуализаций вплоть, до условно-последней, до конкретного индивидуума» [3. С. 141].

Таким образом, философско-исторические взгляды Карсавина не были специфически евразийскими, как минимум, в двух аспектах. Во-первых, представители евразийства не воспринимали эти взгляды как теоретическую подоплеку своих историософских воззрений, а во-вторых, в самой этой теории не было ничего, что бы явно позиционировало ее как специфически евразийскую. Карсавин, будучи представителем русской религиозной философии, развивал концепцию «всеединства» Владимира Соловьева применительно к истории. Но философия всеединства имела универалистский характер и мало подходила для обоснования исторического партикуляризма и национального изоляционизма, одним из вариантов которого выступала идеология евразийства.

Что же касается философии культуры Трубецкого, то, как мы уже подчеркивали, она не содержит ни явно, ни имплицитно никаких философско-исторических теорий и не нуждается в них. А геополитическая концепция России-Евразии Савицкого, хотя и опирается на историософский концепт «месторазвития», не раскрывает его в той мере, которая позволяла бы выявить определенную философско-историческую позицию ее автора. Таким образом, нет оснований говорить об оригинальной философии истории евразийцев. Сторонники этого направления использовали разные философско-исторические идеи, но не выработали собственной концепции, которую можно было бы рассматривать как *евразийскую философию истории*. Это в конечном счете признал и Н.С. Трубецкой, писавший в 1927 г.: «Когда нас уп-

рекают в том, что у нас нет системы, а есть механическая смесь, ералаш совершенно разнородных, друг с другом не связанных идей, из которых каждый может выбирать себе подходящую, – то упреки эти справедливы» (цит. по: [4. С. 114]).

По-настоящему новой и оригинальной была лишь *евразийская концепция русской истории*, авторами которой в равной мере могут считаться Н.С. Трубецкой и П.Н. Савицкий. Ни тот, ни другой не были профессиональными историками. Ни тот, ни другой в буквальном смысле не открыли ничего нового – ни новых исторических источников, ни новых исторических фактов. Революционным и новым был только *ракурс восприятия* общеизвестного исторического материала, благодаря которому отечественная история в целом обрела новый и непривычный вид. В результате такого сдвига восприятия, огромный корпус историко-культурного материала, ранее оттесненный на периферию исторического повествования, выдвинулся в центр («фокус нарратива»), что привело к изменению всей композиции повествовательной русской истории («мастер-нарратива»). Период «монголо-татарского ига», считавшийся переходным от Древней Руси к Московскому царству и не имевший преобладающего значения в концепциях дореволюционных историков (многими он даже особо и не выделялся), в евразийской трактовке приобрел центральное, определяющее значение для всей отечественной истории. Кардинально изменилась также и оценка этого периода: то, что ранее воспринималось как величайшее бедствие («погибель Русской Земли»), превратилось теперь в величайшее благо и спасение от «погибели». Вследствие этого композиция отечественного мастер-нарратива распалась на три неравноценных периода: предъевразийский (до образования Монгольской империи), евразийский (Монгольская империя и Московское царство) и расколотый (имперский и советский). При этом средний, «евразийский» период, не только оказался в фокусе нарратива, но обрел значение «эйдоса» отечественной истории, ее «смыслополагающего ядра».

Выдвинутая Н.С. Трубецким и П.Н. Савицким концепция отечественной истории встретила резкую критику со стороны многих профессиональных историков и философов русского зарубежья. Но вот на что следует обратить внимание: главный критический «удар» пришелся не по самой концепции, а по ее создателям. Критическому разбору подверглись, в первую очередь, иррациональные (эмоционально-психологические) когнитивные установки, которыми они руководствовались. «Евразийство – есть, прежде всего, направление эмоциональное, а не интеллектуальное», – отмечал Н.А. Бердяев [5. С. 198] и предупреждал, что эмоциональность и ставка на идеологию этих людей новой «душевной формации» могут обернуться русским фашизмом [6. С. 107]. «"Евразийство" есть настроение, вообразившее себя системой», – вторил ему А.А. Кизиветтер [7. С. 315]. Евразийцам бросали упрек в *неискренности*, в нечестной игре, в лицемерном сокрытии подлинных мотивов, которыми они руководствуются. Их упрекали в том, что они стремятся не к истине, а к ее искажению ради целей прагматического характера.

Весомость этих упреков тем сильнее, что бросали их представители эмигрантской интеллектуальной среды, многие из которых были лично знакомы с теоретиками евразийства (Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, А.А. Кизиветтер, В.В. Зеньковский, П.Н. Милуков, П.Б. Струве и др.). Среди критиков были и те, кто непосредственно участвовал в евразийском движении на начальном его этапе, а, следовательно, знал положение дел изнутри (Г.В. Флоровский, П.М. Бицилли).

Евразийство есть *«правда вопросов, неправда ответов, – правда проблем, а не решений»*, – заявил Георгий Флоровский [8. С. 354]. Слово «правда» в русском языке двойственно. Отнесенное к тому, *о чем* говорится, оно – синоним слова «истина»; отнесенное к тому, *кто* говорит, оно характеризует интенциональность говорящего. Так что же имел в виду Флоровский, говоря о «неправде» евразийства: то, что евразийцы искренне заблуждаются, или то, что они намеренно лгут? Исходя из других его высказываний, очевидно, что Флоровский обвинял недавних своих единомышленников и друзей в стремлении «пленить в послушание» и «соблазнить» людей новыми идеями посредством сознательной лжи, притягательная сила которой обусловлена частично «правдой вопросов», но главным образом правдоподобием ответов. Идею о «потенциальном православии» язычества, ислама и буддизма на территории России Флоровский прямо и недвусмысленно назвал «соблазнительной и лживой теорией» [8. С. 377].

Неискренними считал некоторые высказывания евразийцев историк Петр Бицилли, принимавший участие в движении на начальном его этапе, но затем, как и Флоровский, отошедший от него. Обвинение в сознательной лжи адресовал евразийцам также Иван Ильин, характеризовавший их исторические экскурсы как «щеголяние заведомыми историческими искажениями и двусмысленными трюками», манеру «рисоваться своими вывертами» [9. С. 352].

Если принять эту критику всерьез (иной подход вряд ли оправдан, учитывая, сколь серьезно она высказывалась), то возникает ряд вопросов, на которые необходимо ответить в целях более полного понимания того, что представляло собой евразийство и какова эпистемологическая значимость евразийской концепции русской истории.

Правда ли, что евразийцы сами не верили в то, что говорили и писали? А если да, то почему и с какой целью они это делали? Ответ на эти вопросы можно найти лишь у самих евразийцев, которые, впрочем, были довольно откровенны и в своих публикациях, и в частной переписке. Так, в предисловии к первому программному сборнику «Исход к Востоку» (1921), с которого начинается отсчет истории евразийства, в декларативной форме отвергался принцип научной истинности в отношении содержания сборника. «Здесь нельзя требовать доказательств, – объявляли авторы сборника. – И думающие по-иному вправе называть нас безумцами, как мы их – слепорожденными» [10. С. 24]. Но, если нельзя требовать доказательств, если критерий истинности выдвигаемых утверждений безоговорочно и сознательно отвергается, то чем же становятся утверждения евразийцев? Ответ дается следующий: «Дело здесь не в тех или иных отдельных теоретических заключениях или конкретно-исторических оценках, а в субъективно-психологическом подходе к про-

блеме» [10. С. 24]. Другими словами, авторы сборника декларируют релятивистский подход к реальности, корнящийся в экзистенциальном выборе («субъективно-психологическом подходе») и отвергающий принцип истинности, разумеется, не в логическом, а в научном смысле, т.е. как соответствие высказываемых утверждений внеязыковой реальности, тому, что есть «на самом деле».

Можно, конечно, сослаться на полемическую запальчивость авторов «Исхода к Востоку» и не принимать их декларацию всерьез. Однако имеются свидетельства, дискредитировать которые значительно труднее. Частная переписка Н.С. Трубецкого с видным лидером движения П.П. Сувчинским раскрывает перед нами с предельной откровенностью «внутреннюю кухню» из приготовления евразийских «блюд». В частности, в этой переписке речь идет о главной теоретической работе Трубецкого, где изложена евразийская концепция русской истории, о статье «Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока».

В апреле 1924 г., в процессе работы над текстом этой статьи, Трубецкой жалуется Сувчинскому: «Не обладая достаточным количеством фактического материала и знанием специальной литературы, я оказался не в состоянии детально и убедительно иллюстрировать свои мысли и подобрать такие формулы, которые, не расходясь с результатами специальных исторических исследований, в то же время вкладывали бы в исторические факты нужное содержание. Получился дилетантизм и легкомысленное построение, которое всякому Кизиветтеру не стоит разбить одним щелчком» [11. С. 87]. Как видим, Трубецкой верит в существование научно установленных фактов и не отвергает их истинности (т.е. их соответствия внеязыковой исторической реальности). Но в то же время он полагает возможным «вложить в них нужное содержание» извне, т.е. совершить, если можно так выразиться, герменевтическое насилие над историческими фактами, дать им интерпретацию, отличную от той, что дается профессиональными историками. Как известно, сверхзадача историка заключается в том, чтобы понять, объяснить и репрезентировать научно установленные исторические факты с целью приближения к истине. Интеллектуальная операция, которую осуществляет (заметим, вполне сознательно!) Трубецкой, полностью ей противоположна. Он изымает «подходящие» для его целей «исторические факты» (по крайней мере, то, что он считает фактами) из научного дискурса и включает их в идеологически ориентированный текст, предлагая читателям лишь соответствующую идеологии евразийства интерпретацию фактов.

Через год, когда работа Трубецкого над статьей близилась к завершению, он вдруг отказывается от замысла издавать ее под своим именем. 23 февраля 1925 г. он пишет Сувчинскому: «Имени своего этому произведению я давать не хочу... думаю, что с научной точки зрения мое построение можно сильно пощипать» [11. С. 106]. Спустя три недели, 15 марта 1925 г., Трубецкой предлагает жестко ограничить распространение брошюры после ее издания: «Еще большой вопрос, не нужно ли будет ее вообще скрыть от широкой публики. Так, как она у меня до сих пор выходит, она может иметь известный агитационный успех, но может и сильно повредить нам. Обращение с историей в ней намеренно-бесцеремонное и тенденциозное, так что для серьезной

исторической критики она представляет весьма удобное поле и может служить легкоуязвимым местом. Можно было бы застраховаться с этой стороны, заявив в предисловии, что написана она не историком по специальности и представляет из себя только мысли, подлежащие еще разработке специалистов. Но это сильно ослабило бы ее агитационное значение» [11. С. 107–108]. В письме от 28 марта 1925 г. встревоженный Трубецкой еще раз напоминает Сувчинскому, занимавшемуся изданием брошюры в Париже: «Я бы все-таки не хотел ставить своего имени под этим произведением, которое явно демагогично и с научной точки зрения легкомысленно» [11. С. 109]. Менее двух недель спустя, 11 апреля 1925 г., он снова возвращается к этому вопросу: «Я на эту брошюру смотрю не как на свою собственность. В ней и без того – плагиат на плагиате, и при написании ее я много кривил душой в угоду “ударности”» [11. С. 111].

Приведенные свидетельства – мнения оппонентов из числа современников и участников евразийского движения, декларативные заявления самих евразийцев, наконец, личные признания Н.С. Трубецкого, главы и ведущего теоретика движения, – убеждают нас в том, что упреки в неискренности, в сокрытии подлинных мотивов, наконец, в использовании технологий манипуляции сознанием читателя были справедливы. Между тем, что Трубецкой писал, и тем, что он думал на самом деле, существовал разрыв. Констатация наличия этого разрыва принципиально важна для понимания феномена евразийства.

Как ученый, сознание которого формировалось в традициях эпохи модерна, Трубецкой разделял классический (сциентистский) идеал научного знания, т. е. веру в способность научными методами достичь объективной истины. Однако единственной гуманитарной дисциплиной, обладающей научным методом, он считал лингвистику, тогда как история, этнография и другие отрасли гуманитарного знания, по его мнению, все еще находятся на стадии «алхимического развития» [4. С. 67]. Но со временем и они, полагал Трубецкой, дорастут до подлинной научной строгости, соответствующей сциентистскому идеалу. В то же время как человек, переживший и осмысливший опыт русской революции, он пришел к пониманию автономности политического дискурса от дискурса научного. Политик не обязан верить в то, что он говорит, а то, что он говорит, не обязательно должно быть правдой. Но в любом случае то, что говорит политик, должно «работать», т.е. завоевывать умы и сердца людей. Трубецкой, следовательно, ощупью двигался к постмодернистской трактовке идеологии как *инструмента* политической мобилизации масс и, в конечном счете, как инструмента социального конструирования (в частности, конструирования социально-культурных идентичностей).

В то же время было бы опрометчиво видеть в нем хладнокровного политического демагога. Внутренний конфликт, остро переживаемый Трубецким и столь ярко отразившийся в переписке с Сувчинским по поводу указанной брошюры, был вызван его глубокой иррациональной верой в *истинность* евразийского взгляда на Россию, который, однако же, ему не удавалось рационально обосновать на историческом материале. Революция, как справедливо отмечает М. Ларюэль, открыв «азиатский лик России», создала предпо-

сылки для рождения евразийского мифа. В ситуациях «лицом к лицу» с разгулявшейся революционной стихией многие представители образованных слоев фиксировали трансэтнический или евразийский облик революционной массы, представлявшейся им как «сплав» русских и нерусских народов России, едва различимый в своих этнокультурных составляющих. Это была первичная реакция сознания, как бы мгновенный взгляд, выхватывающий из череды микроситуаций образы социальной действительности, которые, повторяясь вновь и вновь, закреплялись в сознании как «евразийский» образ России. Такое восприятие не было обманом чувств, но в то же время не являлось и «объективным отражением» социальной действительности. Это было *мифологически-отрешенное* или *мифологическое* восприятие действительности. Но миф не является всего лишь результатом произвольной фантазии. Миф – это «магическое имя», говоря словами А.Ф. Лосева, рекомбинирующее действительность в интеллектуальном образе, который становится подлинной действительностью для носителя мифологического мышления. «Мифическая отрешенность есть отрешенность от смысла и идеи повседневных фактов, но не от их фактичности» [12. С. 452]. Поэтому миф выступает как реальность, вещественно и чувственно творимая действительность.

Трубецкой, как и многие другие представители русской интеллигенции, был зачарован евразийским ликом русской революции, «пленен» реальностью евразийского мифа. В грандиозном катаклизме 1917–1920 гг. ему открылась *истина* о России. Та истина, в которую он поверил умом и сердцем. Но природа этой истины была иррациональна, мифологична. Не случайно в сборнике «Исход к Востоку» авторы писали о «катастрофическом мироощущении», в атмосфере которого сложились их взгляды. Евразийство, таким образом, есть *идеологическая рационализация* мифа, связанного с русской революцией. Однако в XIX – начале XX в. любая идеология стремилась легитимировать себя через опору на науку, придать себе «научнообразный» характер. Тем более это стремление было присуще творцам евразийства, высокий уровень профессиональных знаний которых в той или иной области гуманитарных наук неоспорим.

Несостоятельность попыток придать иррациональной вере в евразийский миф (евразийское видение России) удовлетворительное научно-историческое обоснование, как мы видим, четко осознавалась Н.С. Трубецким. В то же время потребность в таком обосновании, заложенная в общественном сознании эпохи модерна, принуждала главного теоретика евразийского движения создавать идеологические тексты, которые он сам характеризовал как «легкомысленные», «тенденциозные», не выдерживающие «серьезной исторической критики». Считая эти тексты полезными с точки зрения политических целей движения, он в то же время стремился сохранять дистанцию по отношению к ним как ученый. Такая двусмысленная позиция приводила к самоотчуждению автора от своих произведений посредством языковой игры, где «сильные» пропозиции ослаблялись подстрочными примечаниями, а рассуждения нередко сводились на «лингвистические трюки». Это заигрывание Трубецкого с музой Клио тонко подметил Иван Ильин, усмотревший в его статьях «явное подсмеивание над слушателем, над собой (говорящим) и над всей “доктриной” в целом» [9. С. 352].

В отличие от Н.С. Трубецкого, другой теоретик движения, П.Н. Савицкий, искренне верил в возможность «научной идеологии» и не усматривал никакого разрыва между научным и политическим дискурсами. Для него как мыслителя был характерен наивный алогизм и эклектизм, проявлявшийся в умении соединять несоединимое, примером чему служит концепт «место-развития». Как и его идейные противники, большевики («учение Маркса все-сильно, потому что оно верно»), Савицкий сводил в единое целое гносеологические и праксиологические аспекты идеологий. В его понимании «истинная идеология» должна быть «несомненно, т.е. абсолютно, обоснованной в своих истоках» и в то же время «самой конкретной жизнью, которую она осмысливает, преобразует и творит» [2. С. 19, 23].

Понимание евразийства как идеологии, феноменологическим ядром которой служит евразийский миф, возвращает нас к проблеме эпистемологической ценности евразийской концепции отечественной истории. «Вопрос об истине не имеет никакого отношения к вопросу об идеологии», – утверждал М. Мамардашвили [13. С. 64]. А евразийское учение с самого начала рассматривалось его творцами и конструировалось ими как эффективный *инструмент* политической мобилизации для борьбы с большевиками, т.е. как *идеология*. Стремясь легитимировать евразийскую идеологию с помощью науки, они привлекали данные из различных гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Но поступали с этими данными точно так же, как Трубецкой обращался с историческими фактами. То есть извлекали их из научного дискурса и с помощью различных «лингвистических трюков» преобразовывали их в *идеологемы*, направленные на обоснование евразийского учения в целом.

Идеологическая «обработка» отечественной истории в евразийском духе выразилась, прежде всего, в глубоком разрыве с дореволюционной нарративной историографией, традиционно воспроизводящей сюжеты и композицию русских летописей. Прежде всего, евразийцы решительно отказались от взгляда на отечественную историю как на историю *русского народа* и *русского государства*. В трудах дореволюционных историков России субъектом исторического процесса выступало русское государство и/или русский народ. В евразийской же концепции, как справедливо отметил Г.В. Флоровский, «*подлинным субъектом исторического процесса и становления оказывается как бы территория, – даже не народы*» [8. С. 370].

Сдвиг фокуса внимания с народа и государства на территорию («место-развитие») резко изменил ретроспективу видения отечественной истории. Теперь история русского народа и государства как бы «сехала» в дальний угол между балтийским побережьем и Киевом, превратившись в один из кусочков обширного и пестрого «мозаичного полотна» Евразии, – необъятного пространства, раскинувшегося от Днестра и Немана до Тихого океана, на котором разворачивалась историческая драма взаимодействия кочевых и оседлых народов. Это позволило евразийцам «разорвать» историческую преемственность между Древней (Киевской) Русью и Московским царством, объявив его наследником и преемником «евразийской» империи Чингисхана. Киевская Русь была признана «нежизнеспособным» государством, контролирующим всего лишь одну из многих речных систем Евразии, «путь из варяг в греки», т.е. систему рек и волоков между Балтийским и Черным морями,

и занимавшим «незначительное место» не только в географии, но также и в истории гигантского «материка» Евразии.

В изображении евразийцев история этого пространства («месторазвития») телеологична, направлена к определенной цели – объединению территории Евразии в одном государственном «теле». Достичь этой цели могли только кочевники, «контролирующие» обширные степи между речными системами, а не оседлые народы, привязанные к этим системам. Таким образом, история Киевской Руси, бывшая ранее в центре отечественного мастер-нарратива, как бы *вытеснялась* евразийцами на его периферию. «В течение первых тысячелетий известной нам истории Евразии, – писал П.Н. Савицкий, – русское (восточнославянское) племя стояло в стороне от большого русла евразийской истории» [2. С. 124]. В центре исторического развития Евразии (а также в фокусе исторического повествования) оказались кочевники – скифы, гунны, авары, монголы: «основными фактами истории Евразии было существование скифской и гуннской держав – с теми эпизодами, которые их окружают и отделяют друг от друга... В промежутках между “гуннской” и “монгольской” эпохами евразийской истории ... унификационные тенденции запечатлены в истории авар, тюрк и т.д.» [2. С. 124].

Историческую миссию объединения Евразии в едином государственном «теле» выполнил Чингисхан – в изображении Трубецкого отнюдь не разрушитель-варвар, а носитель «великой государственной идеи», создатель первой евразийской империи. Русь в ходе монгольского завоевания превратилась в один из улусов, которым правили наместники («губернаторы провинций») русского происхождения. По мере ослабления империи эта провинция во главе с наместниками (московскими князьями) набирала силу. В результате центр власти постепенно смещался из Сарая в Москву. Никакого свержения татаро-монгольского ига не было и в помине, а произошла естественная и постепенная *«замена ордынского хана московским царем с перенесением ханской ставки в Москву»* [14. С. 245]. Куликовская битва в таком контексте утрачивала символическое значение, каким наделяла его дореволюционная историография, превратившись в мелкий, досадный и в целом бессмысленный эпизод отечественной истории. В процессе же *мирной* трансформации монгольской империи в Московское царство, т.е. между XIII и XVI вв. возникла та Русь (народ и государство), у которой с прежней Киевской Русью не было ничего общего, кроме названия.

Началом русской истории в евразийской концепции становилась, таким образом, не Древняя Русь (IX–XIII вв.), как было раньше, а Монгольская империя чингизидов (XIII в.). Россия была объявлена наследницей и продолжательницей монгольской государственной традиции. Завоевание Руси монголами превратилось, в соответствии с этой логикой, из величайшего бедствия в русской истории во благо. «Велико счастье Руси, – писал Савицкий, – что в тот момент, когда в силу внутреннего разложения она должна была пасть, она досталась татарам, а не кому другому» [2. С. 333]. Генезис великорусского этноса был представлен в сочинениях евразийцев как результат смешения древних славян с тюрками. Русский народ, сохранивший этноним «русские», объявлялся народом евразийским. И русская культура, следовательно, пози-

ционировалась как культура евразийская. Эпизоду перехода части татар на русскую службу Трубецкой придавал громадное значение. Эти новообразованные подданные московского великого князя «сделались одной из надежнейших опор зарождающейся русской государственности, а в то же время, принося с собой традиции и навыки монгольской государственности, персонально закрепляли преемственную связь между монгольской и русской государственностью» [14. С. 252].

Представленная в таком виде концепция отечественной истории, конечно, должна была восприниматься и воспринималась современниками евразийцев как грубое насилие над исторической действительностью и исторической наукой. Она не только порывала со сложившейся традицией отечественного историописания, но также вступала в острое противоречие с известными историческими фактами, а во множестве случаев и сама с собой. Идеологическая предзаданность, идеологическая целерациональность этой концепции были слишком очевидными, чтобы испытывать к ней хоть малейшую симпатию и доверие. Сам по себе этот идеологический конструкт выполнял исключительно служебную функцию в рамках евразийской идеологии. Он призван был обосновать, во-первых, политическое единство России в границах СССР, а во-вторых, смену ее внешнеполитического курса – с прозападного на антизападный.

В XX в. монархическая идея, по мнению евразийцев, себя полностью дискредитировала и уже не способна была обеспечить единство территории российского государства после падения большевистского режима. Скрепить распадающееся тело империи могла только новая идеология социально-экономического, исторического и политического единства различных этнокультурных и этноконфессиональных компонентов. Для этого требовалось разрушить представление о российском государстве как о *русском* проекте и заменить его *евразийским* проектом. Так возникла необходимость максимально принизить роль Древнерусского государства в отечественной истории, разорвать историческую преемственность между Киевской и Московской Русью, а начало русской истории отнести на 500 лет позднее – к образованию монгольской империи. Логика идеологического конструирования влекла за собой возвеличивание Чингисхана как носителя «великой» государственной идеи, игнорирование исторического значения национально-освободительной борьбы русского народа, преувеличение роли тюркского компонента в формировании русской государственности и т.д. Позиционирование России как Евразии, а русского народа – как народа евразийского закрепляло на идеологическом уровне также и новые внешнеполитические приоритеты будущей посткоммунистической России, которая, согласно воззрениям теоретиков евразийства, должна возглавить борьбу стран и народов Азии против политической и культурной гегемонии Запада.

Николай Трубецкой, главный «изобретатель» евразийской конструкции прошлого, отлично понимал ее целерациональность, искусственность и, как ученый, мучительно стыдился того, что делал, будучи идейным лидером евразийского движения. Но он полагал, что ради достижения политических целей можно поступиться научной добросовестностью. «Сознание того, – писал Трубецкой, – что героические усилия и жертвы бойцов белого движения ока-

зались напрасными благодаря идеологической и практической беспомощности его невоенных участников, – это сознание и вызвало к жизни евразийство как стремление создать новую идеологию, более соответствующую по своему масштабу великой задаче преодоления коммунизма» [14. С. 384].

Идеология, в его понимании, была оружием, а всякое оружие следует использовать, если оно позволяет добиться желаемых результатов. Вспомним также, что Трубецкой со студенческих лет считал историю в научном отношении менее строгой дисциплиной, чем филология. И, даже отдавая себе отчет в искусственном характере евразийской реконструкции прошлого, Трубецкой продолжал верить в истинность евразийского взгляда на Россию в целом. Он был убежден в том, что профессиональный историк мог бы лучше, чем он, справиться с задачей и «научно» обосновать евразийскую версию отечественной истории. Поэтому Трубецкой так обрадовался, когда к их движению примкнул Г.В. Вернадский, переехавший в 1922 г. из Афин в Прагу.

Увлеченность Вернадского евразийством была вполне искренней. Как и многие другие мыслители русской эмиграции, пережив опыт революции и Гражданской войны, воочию разглядев «евразийский лик» России, он находился во власти евразийского мифа. Стремление некоторых современных авторов представить Вернадского «евразийцем до евразийства», на наш взгляд, не имеет оснований. До революции Вернадский был членом кадетской партии, лично знаком с П.Н. Милюковым и другими партийными деятелями, т.е. в политическом отношении примыкал к либералам-западникам. Его первые научные статьи, посвященные истории Сибири, не заключали в себе ничего специфически евразийского. Позднее он изучал историю русского масонства под формальным научным руководством С.Ф. Платонова, специалиста в области истории допетровской Руси, далекого от русского партикуляризма и воинствующего антизападничества. Лишь в ходе революции в мировоззрении Вернадского, а также в его политических пристрастиях и научных интересах происходит заметный перелом. Оказавшись в 1917 г. в Перми, Вернадский вновь заинтересовался историей Сибири. Он даже начал изучать татарский язык у местного муллы. Одновременно с этим он испытал возрождение религиозной веры. «В Перми я, можно сказать, вернулся к церкви», – вспоминал Вернадский [15. С. 144]. В 1920 г. в Крыму он продолжал изучать татарский язык и арабскую графику, а после эвакуации в Константинополь – турецкий язык. Большое впечатление на Вернадского в Крыму произвела лекция Максимилиана Волошина, призывавшего к созданию «третьей силы», которая должна встать над схваткой белых и красных и остановить братоубийственную войну. Все это вместе взятое, как и живые впечатления, вынесенные им из революционного урагана, подготовили Вернадского к восприятию идеологии евразийства.

Личное знакомство и беседы с лидерами движения, в особенности с Николаем Трубецким, загоревшимся идеей привлечь Вернадского к написанию исторического труда в евразийском ключе, стали основой той научной программы, осуществлению которой он посвятил дальнейшую жизнь. Однако в ходе этой работы Вернадский все больше освобождался

от пут евразийской мифологии. Научная критика, научный подход постепенно вытесняли в его трудах идеологемы и мифологемы евразийской концепции Трубецкого – Савицкого. В то же время Вернадский сохранил и то истинное, что содержал в себе евразийский взгляд на русскую историю. Его классическая монография «Монголы и Русь» (1953) представила не только новый для отечественной историографии тип исторического нарратива, но также и образец евразийской интерпретации русской истории. К сожалению, после Вернадского представители евразийского направления вновь погрузились в пространство мифа и начали возрождать наиболее искусственные и эпатажные идеологические «конструкты» Н.С. Трубецкого и П.Н. Савицкого. Евразийцы, набирая обороты, двинулись вспять, к истокам, от науки к мифологии.

Литература

1. Ларюэль М. Идеология русского евразийства, или Мысли о величии империи / пер. с фр. Т.Н. Григорьевой. М.: Наталис, 2004. 287 с.
2. Савицкий П.Н. Континент Евразия. М.: Аграф, 1997. 464 с.
3. Карсавин Л.П. Философия истории. М.: АСТ, Хранитель, 2007. 510 с.
4. Кловер Ч. Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи / пер. с англ. Л. Сумм. М.: Фантом Пресс, 2017. 496 с.
5. Бердяев Н.А. Утопический этатизм евразийцев («Евразийство». Опыт систематического изложения) // Н.А. Бердяев о русской философии / сост. Б.В. Емельянов, А.И. Новиков. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. Ч. 2. С. 198–204.
6. Бердяев Н.А. Евразийцы // Путь. Кн. 1 (I–VI). М.: Информ-Прогресс, 1992. С. 107–111.
7. Кизиветтер А.А. Евразийство // Мир России – Евразия: Антология / сост. Л.И. Новиков, И.Н. Сиземская. М.: Высшая школа, 1995. С. 315–328.
8. Флоровский Г.В. Евразийский соблазн // Мир России – Евразия: Антология / сост. Л.И. Новиков, И.Н. Сиземская. М.: Высшая школа, 1995. С. 354–385.
9. Ильин И.А. Самобытность или оригинальничание? // Мир России – Евразия: Антология / сост. Л.И. Новиков, И.Н. Сиземская. М.: Высшая школа, 1995. С. 349–354.
10. Предчувствия и свершения: Предисловие к сборнику «Исход к Востоку» // Мир России – Евразия: Антология / сост. Л.И. Новиков, И.Н. Сиземская. М.: Высшая школа, 1995. С. 23–26.
11. Трубецкой Н.С. Письма к П.П. Сувчинскому: 1921–1928 / сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. К.Б. Ермишиной. М.: Библиотека-фонд «Русское Зарубежье», Русский путь, 2008. 384 с.
12. Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М.: Правда, 1990. С. 391–599.
13. Мамардашвили М. Очерк современной европейской философии. СПб.: Азбука, 2012. 608 с.
14. Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 2000. 556 с.
15. Вернадский Г.В. Из воспоминаний // Вопросы истории. 1995. №1. С. 129–148.

Igor V. Lihomanov. Novosibirsk Higher Military Command School (Novosibirsk, Russian Federation)

E-mail: graingar@yandex.ru

DOI: 10.17223/1998863X/40/17

Vladimir A. Boyko. Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of Russian Academy of Science (Novosibirsk, Russian Federation)

E-mail: vboyko100@gmail.com

DOI: 10.17223/1998863X/40/17

EURASIANS AND MUSE OF KLIO: FROM MYTHOLOGY TO A SCIENCE

Key words: eurasianism, ideology, methodology and philosophy of history, historical narrative

This article discusses epistemological importance of the Eurasian interpretation of national history. Semantic core of this doctrine is ideological rationalisation of the myth connected to Russian Revolution. Eurasians have not created own philosophy of the history, meanwhile they have offered original perspective of perception of a historical material according to which the history of Russia has found a new and unusual view. They have resolutely refused to consider national history as history of *Russian people* and *Russian state*.

The subject of historical process in their works and essays is the territory of the country. According to Eurasians the history of this space has teleological character and directs to a definite purpose of unification of the whole territory of Eurasia in one state "body".

The Eurasian doctrine was initially perceived and designed by its creators as the effective tool of political mobilization for struggle against the Bolsheviks, that is as *an ideology*. They used materials and data connected to various humanitarian and natural-science disciplines on purpose to legitimize the Eurasian ideology by means of a science. These facts were taken from a scientific discourse and transformed to the ideological constructs directed to a substantiation of the Eurasian doctrine as a whole. Failure of attempts to give a satisfactory scientifically-historical proving to irrational belief in the Eurasian myth was realized by some Eurasians, and in particular by N.S. Trubetskoy.

At the same time the requirement for such substantiation, put in public consciousness of a modern history, forced the main theorist of the Eurasian movement to create ideological texts which he characterized as "thoughtless", "tendentious", not protected from «the serious historical criticism». Trubetskoy believed that these texts are useful to the Eurasian movement from the point of view of its (movement) political ends, but aspired to keep a distance in relation to them as the scientist.

The Eurasian conception of national history was perceived by their contemporaries as rough violence over the historical reality and the historical science. It broke off with tradition of a native historical science, conflicted to known historic facts, and in set of cases and with itself. This ideological construct carried out exclusively official function within the limits of the Eurasian ideology. Eurasians aspired to destroy the view of Russian state as Russian project and wanted to replace it with its Eurasian project. Positioning of Russia as Eurasia, Russian people as Eurasian people fixed at ideological level the new foreign-policy priorities of the future postcommunist Russia which, according to views of Eurasian theorists, should head struggle of the countries and people of Asia against political and cultural hegemony of the West.

References

1. Laruelle, M. (2004) *Ideologiya russkogo evraziystva, ili Mysli o velichii imperii* [Ideology of Russian Eurasianism, or Thoughts about the greatness of the empire]. Translated from French by T.N. Grigorieva. Moscow: Natalis.
2. Savitskiy, P.N. (1997) *Kontinent Evraziya* [The Continent of Eurasia]. Moscow: Agraf.
3. Karsavin, L.P. (2007) *Filosofiya istorii* [Philosophy of History]. Moscow: AST, Khramitel'.
4. Clover, C. (2017) *Chernyy veter, belyy sneg. Novyy rassvet natsional'noy idei* [Black wind, white snow. A new dawn of the national idea]. Translated from English by L. Summ. Moscow: Fantom Press.
5. Berdyaev, N.A. (1991) Utopicheskiy etatizm evraziytsev ("Evrasiystvo". Opyt sistematicheskogo izlozheniya) [Utopian statism of Eurasians (Eurasianism. The experience of systematic exposition)]. In: Emelyanov, B.V. & Novikov, A.I. (eds) *N.A. Berdyaev o russkoy filosofii* [N.A. Berdyaev about Russian philosophy]. Sverdlovsk: Ural State University. pp. 198–204.
6. Berdyaev, N.A. (1992) Evraziytsy [Eurasians]. *Put'*. 1 (I–VI). pp. 107–111.
7. Kizivetter, A.A. (1995) Evraziystvo [Eurasianism]. In: Novikov, L.I. & Sizemskaya, I.N. *Mir Rossii – Evraziya* [The World of Russia – Eurasia]. Moscow: Vysshaya shkola. pp. 315–328.
8. Florovskiy, G.V. (1995) Evraziyskiy soblazn [Eurasian temptation]. In: Novikov, L.I. & Sizemskaya, I.N. *Mir Rossii – Evraziya* [The World of Russia – Eurasia]. Moscow: Vysshaya shkola. pp. 354–385.
9. Ilin, I.A. (1995) Samobytnost' ili original'nichanie? [Distinctness or Eccentricity?]. In: Novikov, L.I. & Sizemskaya, I.N. *Mir Rossii – Evraziya* [The World of Russia – Eurasia]. Moscow: Vysshaya shkola. pp. 349–354.

10. Anon. (1995) *Predchuvstviya i sversheniya: Predislovie k sborniku "Iskhod k Vostoku"* [Pre-sentiments and achievements: Preface to the collection "Exodus to the East"]. In: Novikov, L.I. & Sizemskaya, I.N. *Mir Rossii – Evraziya* [The World of Russia – Eurasia]. Moscow: Vysshaya shkola. pp. 23–26.
11. Trubetskoy, N.S. (2008) *Pis'ma k P.P. Suvchinskomu: 1921–1928* [Letters to P.P. Suvchinsky: 1921–1928]. Moscow: Biblioteka-fond "Russkoe Zarubezh'e", Russkiy put'.
12. Losev, A.F. (1990) *Iz rannikh proizvedeniy* [From early works]. Moscow: Pravda. pp. 391–599.
13. Mamardashvili, M. (2012) *Ocherk sovremennoy evropeyskoy filosofii* [An Outline of Modern European Philosophy]. St. Petersburg: Azbuka.
14. Trubetskoy, N.S. (2000) *Nasledie Chingiskhana* [The Legacy of Genghis Khan]. Moscow: Agraf.
15. Vernadskiy, G.V. (1995) *Iz vospominaniy* [From memoirs]. *Voprosy istorii*. 1. pp. 129–148.